

# *Райнер Мария Рильке*

## **Сонеты к Орфею**

Перевод с немецкого Карена Свасьяна.

Написаны как надгробие Вере Оукама-Кнооп. Замок Мюзот в феврале 1922 года.

### Оглавление

[Первая Часть.](#)

[Вторая Часть.](#)

[Примечания Рильке к Сонетам к Орфею](#)

[Первая часть.](#)

[Вторая часть.](#)

[К. Свасьян. От переводчика.](#)

## **Первая Часть**

### I

Там дерево росло. О нарастанье!  
Орфей поет! О дерево в ушах!  
Всё замерло. Но даже в том молчанье  
внимала шагу нового душа.

Из нор и логов звери выползали,  
и расступился лес, прозрачным став.  
На этот раз ползти тайком средь трав  
не хитрость и не страх их заставляли,

но только слух. Рычанье, рев и крик  
притихли в их сердцах. И там, где дико  
торчал шалаш глухой и бесприютный,

убежище из нужд сиюминутных  
со входом, чей косяк дрожал от крика,  
в дремучем слухе храм ты им воздвиг.

### II

Почти как девочка... Разбрызганная трель  
в согласном счастье голоса и лиры,  
сквозь ткань весны она блеснула миру  
и в ухо мне легла, постлав постель.

и стала сном во мне. И сном её  
стал целый мир, притихший на мгновенье:  
луга, деревья, дали и мое  
вдруг замершее стоя изумленье.

Она спала весь мир. Поющий Бог.  
как удалось тебе её найти,  
не жаждущую встать? Где миг разлуки?

Где смерть её? О если бы ты смог  
найти хоть раз еще такие звуки! –  
Она стихает... Девочка почти...

### III

Бог это смог. Но смертный, как же он  
пройдет за ним сквозь лиру в бесконечность,  
когда на перекрестке троп сердечных  
не воздвигает храм свой Аполлон?

Ты учишь нас, что песнь не есть нужда,  
что песнь не служит замыслам подспудно.  
Песнь – бытие. И Богу быть не трудно.  
Когда ж нам быть? И как нам быть, когда

он нам дарует землю и созвездья?  
О, юноша, любовь твоя пройдет,  
хоть голос жжет уста и ждет возмездья, –

забудь его. Минуют звуки эти.  
У песни истинной – другой налет.  
Бесцельный вздох. Дыханье в Боге. Ветер.

### IV

О, легконогие, словно вздрогни,  
входите часто в дыхание, но,  
хоть и членят его ваши щеки,  
все же за вами вновь цельно оно.

О, вы, блаженные, о, невредимые,  
что же вам утренник сердца принес?  
Меткость стрелка и мишени ранимые,  
глянец улыбки в жемчужинах слез.

Горя не бойтесь, тяготы горя  
сбросьте обратно в тяжесть земли;  
грузные горы, грузное море.

Даже ростки, что детьми вы сажали,  
стали стволами; о, как тяжелы.  
Но этот воздух... Но эти дали...

## V

Не воздвигай надгробья. Пусть лишь роза  
из года в год цветет ему опять.  
Ведь то – Орфей. Его метаморфоза  
жива во всем. Мы не должны искать

других имен. Однажды и навеки  
все певчее – Орфей. Пусть он уйдет.  
Но прежде чем сомкнутся эти веки,  
он розу позднюю на день переживет.

О, если б знали вы, как должен он уйти!  
Ведь и его страшило умиранье.  
Но словом одолеть он землю смог

и выбрал край, куда вам нет пути.  
С умолкшей лирой, полный послушанья,  
смирненно преступает он порог.

## VI

Здесь ли житель он? Нет, на распутье

царства двойного процвел его лик.  
Гибкость предельную ивовых прутьев  
тот лишь найдет, кто их корни постиг.

Спать уходя, со стола убирайте  
хлеб с молоком; это мертвых влечет —  
вам они в тягость, но он, заклинатель,  
пусть подмешает их кроткий приход

в зримое здесь; за волшебным обманом  
этих чарующих рут и дымянок  
он проникает прозрачность глубин,

непреходящего образ. И где бы  
ни был тот образ, в жилище иль в склепе,  
славит он перстень, браслет и кувшин.

## VII

Славить, и только! Он вышел, чтоб славить,  
словно руда из молчанья камней.  
Сердце его преходящее давит  
сладкие лозы в бродящем вине.

Голос, он льется, всегда благодатный,  
если прохватит его Божество.  
И наливается как виноградник,  
мир под полуденным небом его.

Вовсе не в склепах звучат его песни,  
лживо хваля королевскую плесень  
или неверные тени Богов.

Он — из немногих посланников здешних —  
кличет еще у порога умерших  
с полными чашами славных плодов.

## VIII

Только в царстве славы, там, где скалы,  
как часовни белые, молчат,

неумолчной жалобе пристало,  
этой нимфе слезного ключа,

прочищать осадок боли нашей.  
Видишь, боль у плеч её светла,  
словно бы она сestroю младшей  
среди всех сестер в душе была.

Радость знает, и тоска винится,  
только жалоба должна еще учиться  
и считать обиды по ночам.

Но внезапно, с первыми лучами,  
голос наш девичьими руками  
как звезду протянет небесам.

## IX

Тот лишь, кто лиру поднял  
и среди теней,  
требовать вправе похвал  
для вечности всей.

Тот лишь, кто с мертвыми мак  
ел, горьковатый,  
ведает истинный знак  
каждой утраты.

Пусть отраженный водой  
лик быстротечен:  
в образ войди.

Только в отчизне двойной  
голос наш вечен  
и невредим.

## X

Вам, полонившим меня навсегда,  
шлю я привет, вековые гробницы,  
где быстротечную песнью струится

римских анналов живая вода.

Или тем, что открыты, как утренний взор  
пастуха, и веселый и зоркий,  
— где в молчанье кадил за узором узор  
мотыльки вышивают в восторге;

всем вновь открытым устам мой привет,  
сбросившим иго сомненья  
и узнавшим, что значит молчать.

Знаем ли мы, о друзья, или нет?  
Так образуется миг промедленья  
и застилает лицо как печать.

## XI

Видишь небо. Разве там не “Всадник”?  
Звездный образ, названный конем  
гордо, в честь земли. И беспощадный,  
тот, второй, что гонит и несом.

Жилистость и гнет, узда и травля,  
миг еще — и всё укрощено.  
Путь и поворот. Но шпоры правят.  
Снова даль. И двое суть одно.

Но одно ли? Может, им неведом  
долгий смысл совместного пути?  
Луг и стол разъяты в час обеда.

Значит, и туда обман проник.  
Пусть. Но нам достаточно найти  
цельность той фигуры. Хоть на миг.

## XII

Славен дух, что нас связал во всем;  
ибо мы в фигурах только живы.  
И часы идут неторопливо  
рядом с настоящим нашим днем.

Хоть неведом путь наш сокровенный,  
 первородством полон каждый жест.  
 И антенны чувствуют антенны,  
 и сквозит из далей весть...

Чистота. О звучность напряженья!  
 Разве не настойчивость служенья  
 от помех тебя всегда хранит?

Но и пахарь, все его заботы  
 на полях, где летом будут всходы,  
 недостаточны. Земля дарит.

### XIII

Спелость груши, яблока, банана,  
 ягоды... О, что за разговор  
 смерть и жизнь ведут во рту... И странно  
 на лице ребенка этот спор

слушать мне. Как вкусен он и сладок,  
 безымянный. И под нёбом рта  
 вместо слов теперь струятся клады,  
 сбросив плоть и смерть во рту найдя.

Кто дерзнул бы яблоком назвать  
 эту сладость, плотную вначале,  
 и потом пролившуюся в дали

вкуса? Кто бы смог её унять,  
 смесь земли и солнца, как? откуда? –  
 Опыт, чувство, радость, – чудо! чудо!

### XIV

Мы слышим шум цветов и листьев плеск.  
 Им ведом лишь язык немого года.  
 Из тьмы сплошной растет округлость плода  
 и, может быть, несет ревнивый блеск

умерших на своем румянце броском.  
 Что знаем мы об их участие в том?  
 Ведь с давних пор помечен каждый ком  
 сырой земли их вольным костным мозгом.

Спроси лишь: волен ли тот плод?..  
 И этот труд, содеянный рабами,  
 найдет ли среди нас своих господ?

А может, господа они, что сами  
 у корней спят, в избытке нам даруя  
 гибрид из сил немых и поцелуев.

## XV

Стойте же... Вот он... Близок исход.  
 ...Если бы музыки, ритма, песни —:  
 девушки, теплые, тихие — вместе  
 вам бы сплясать отведенный плод!

Вкус апельсина станцуйте. Вы знали,  
 сладость свою он не выдержал сам  
 и захлебнулся. Вы им обладали.  
 Лакомо он повернулся к вам.

Вкус апельсина станцуйте. Жарким  
 льется из вас он ландшафтом, и ярким  
 воздухом край ваш родной озарен,

блестками запахов. Если б сродниться  
 с кожицей чистой, готовой открыться,  
 с соком, который счастливой сужден!

## XVI

Ты, мой друг, одинок, отчего...  
 Мы же словами и знаками множим  
 наши владения в мире, быть может,  
 в самой рискованной части его.

Кто на запах укажет перстом?

Ты же чуешь те силы кромешные,  
что грозят нам... Ты знаешь умерших,  
и тебе страх полудня знаком.

Цельность распалась и терпим мы части.  
Помощи нет. Твое сердце, что почва,  
но пощади... Я расту пуще трав.

Только его я направлю с участием,  
перст Божества моего, дабы молча  
вымолвить: Вот он, косматый Исав.

## XVII

Где-то внизу, в глубине,  
корень подспудный,  
словно источник всех дней,  
тайный их спутник.

Шлемы и рог, и речей  
старческих будни,  
братская ярость мужей,  
жены, как лютни...

В натиске ветви сплелись,  
гнутся и рвутся...  
Эта! Тянись... о, тянись...

Рвутся и вместе и врозь.  
Ей лишь одной удалось  
в лиру согнуться.

## XVIII

Слышишь, Господь? Гудит  
новая эра.  
Всюду уже гремит  
новая вера.

Бешеный темп скоростей  
глушит нам уши,

мало машине ушей,  
губит и души.

Эта машина:  
видишь, она, что ни час,  
ждет дифирамбов от нас.

Словно не ей наша власть,  
всю потерявшая страсть,  
отдана ныне.

## XIX

Пусть с быстротой облаков  
мир наш преходит,  
всё совершенное вновь  
в корни уходит.

Только твоя первопеснь  
длится над миром,  
Бог, словно ставший весь  
звучною лирой.

Боль нам не преодолеть,  
непостижима любовь,  
и дальнзоркая смерть

лик свой скрывает.  
Только поющее вновь  
всё причащает.

## XX

Что же, Господь, примешь в дар от меня  
ты, даровавший слуху закон? —  
Память мою... Россия, весна,  
вечереющий воздух — и конь...

Из деревни скакал этот конь сквозь тьму,  
за собою привязь влача,

чтобы ночью белеть на лугах одному;  
кудри гривы его сгоряча

ударялись о шею всё вновь и вновь  
озорному галопу в такт.  
Родниками бурлила конская кровь.

Он чувствовал дали, и как!  
Он пел и он слушал – сказаний твоих  
замкнулся в нем круг.  
Его образ: прими.

## XXI

Снова весна. И земля, как ребенок,  
громко читает стихи допоздна;  
много, о, много... За тягость продленок  
нынче получит оценку она.

Строг был учитель. Игольчатый иней  
стряхивал он с бороды на поля.  
Что это значит, зеленый и синий, –  
спросим теперь мы: ответит земля!

Вольная, резвая, сбылись все сроки.  
Вот и награда за труд твой упорный:  
дети играют и ладят с тобой.

Всё, что учила она, все уроки,  
те, что впечатаны в корни и дёрны  
толстых стволов, – стали песней сплошной!

## XXII

Мы – проходящие.  
Но временным  
мы семенам  
непреходящее.

Все торопливое  
вмиг пролетает;

только пыльное  
нас посвящает.

Что же, как воинов,  
отроки, храбрость  
мечет вас в мрак?

Все успокоено:  
сумрак и ясность,  
книга и злак.

### XXIII

О, тогда лишь, когда полет  
уже не собой поглощенный  
стройно и уединенно  
будет вращать в небосвод,

чтобы в профилях светлых,  
словно любимец ветров,  
плавно выделявать петли  
и устремляться вновь, —

лишь когда полет аппарата  
гордость подростков превысит  
чистым своим Куда,

будет ему наградой  
та приближенность высей,  
где одинок он всегда.

### XXIV

Нашу исконную дружбу, Богов неподкупно-великих,  
разве должны мы отвергнуть их ради  
выплавки стали, машин неотвязно-безликих,  
или внезапно на карте искать их?

Властные эти друзья, умерших от нас уводящие,  
в шуме колес сохраняют безмолвные дали.  
Наши пиры и купальни, сборища наши шумящие

их оттеснили, давно уже мы обогнали

неторопливых посланников их. И теперь одиноко  
толпами бродим по свету, друг другу чужие,  
и не прекрасным меандром уже, а упрямой дорогой

путь свой вершим. И только котлы паровые  
пламенем полны еще, и жгучую лаву пролили  
в мир. Мы же, словно пловцы, теряем последние силы.

## XXV

Но о Тебе я хочу, о Тебе, которую знал я,  
словно была Ты цветком, что неназванно рос,  
вспомнить еще раз и им показать, чтобы стала  
Ты прекрасной подругою всех незаглотанных слез.

В танце кружилась сперва, но внезапно замерло тело,  
точно вылитой бронзою юность его была,  
скорбно внемля чему-то. — Тогда, в этот миг оробелый,  
музыка в сердце Твое низошла.

Но приближалась болезнь. Уже омраченная тенью  
кровь напирала и, чтоб отвести подозренья,  
шумом весны заслонила внезапность потерь.

В сумерках снова и снова на ощупь играя с разлукой,  
бренно блестела она. Пока после жуткого стука  
не вошла в безутешно открытую дверь.

## XXVI

Ты, о Божественный, ты, чья бессмертная песня  
не умолкала в толпе разъяренных менад,  
ты, заглушивший их крики порядком чудесным  
и в разрушение внесший зиждительный лад.

Лиры твоей и чела твоего не разбила  
вся эта ярость. Хоть, острые камни найдя  
метили в сердце, но песня твоя усмирила  
даже те камни, что замерли, слух обрета.

Был, наконец, ты той мезтью глухой умерщвлен,  
всё же звучанье осталось в деревьях и скалах,  
в птицах и львах. Ты и ныне поешь там еще.

О, утраченный Бог! След твой мы слышим всегда!  
Лишь потому, что тебя вражда растерзала,  
в слух превратились мы все и в природы уста.

## Вторая Часть

### I

Незримый стих, ты – вот, ты снова здесь!  
Дышу и вдоволь наполняюсь  
твоим пространством. Ты – противовес,  
в котором я ритмически свершаюсь.

Единственной волны набег,  
чье море – мое постоянство;  
ты бережливей всех морей и рек, –  
прибыль пространства.

Сколь многие из тех моих глубин  
пространством стали здесь. Но ветры множатся  
и мне они – как сын.

Ты, воздух, полный мной, не оттого ли ты притих,  
что опознал меня? Ты, ставший гладкой кожицей,  
округлостью и кроной слов моих.

## II

Как этот лист у художника властно  
штрих неизбежный отнять норовит,  
так и улыбку девичью часто  
зеркало мигом крадет и хранит

в неповторимых пробах рассвета,  
или в услужливом блеске свечей.  
И на лицо настоящее, это,  
падает позже лишь отблик, ничей.

Что же глазам открывалось когда-то  
в этом камине, уже догорающем:  
отблики жизни, минувшей совсем.

Ах, но земные кто знает утраты?  
Тот лишь, кто всё-таки голосом славящим  
сердце воспел бы, единое всем.

## III

Вы, зеркала, где же суть ваша скрыта,  
неуловимая, точно сон.  
Вы, что сквозными просветами сита  
заполонили проемы времен.

Вы – расточители пышных убранств,  
в сумерках, дальние, словно дорога...  
Люстра проходит ветвящимся рогом  
в непроходимость ваших пространств.

Живопись полнит вас иногда  
и на мгновение лишь остается,

дабы исчезнуть затем, но куда...

Только красавицу, словно сюрприз,  
вы сохраните, пока не прольется  
в щеки её растворенный Нарцисс.

#### IV

О, вот он, зверь, не сказка и не быль.  
Им был неведом он, хоть всякий раз  
его осанку, блеск волшебных сил  
они любили, вплоть до светлых глаз.

Пусть не был он, но, чистый зверь, он стал.  
Любовь их отвела ему пространство.  
И в том пространстве, вогнутом и ясном,  
легко и ненавязчиво поднял

он голову. И зернами не мог  
никто кормить его. Всегда он жил  
возможностью и, благодарный ей,

сумел изжить свой рог. Единый рог.  
Белея, к деве подошел и был  
он в зеркале серебряном и в ней.

#### V

Мускул цвета, мускул анемона,  
луговой встречающий рассвет,  
дабы поглотить своим бездоньем  
чистый и многоголосый свет;

мускул бесконечного приятья,  
напряженный в звездочке земной,  
часто так открытый для объятий  
полноты воздушной, что немой

вздог заката еле раздается  
в лепестках, покрытых чистой брызгью:  
сколько сил в тебя, открытый, льется!

Мы, насильники, мы только тратим.  
Но когда, в какой из наших жизней  
мы, вконец, открыты для приятя?

## VI

Роза, престольная, в древности ты была чашей  
с обыкновенной простой каймой.  
Нынче же взоры не могут насытиться наши,  
неистоцимая вещь, тобой.

Словно бы ты нарядилась в несчетные платья,  
платья на плоти, которая вся  
блеск и сиянье. Но древним горит неприятьем  
всякой одежды твоя краса.

Веками нам запах твой был  
зовом к своим именам сладчайшим;  
нынче славой он воздух залил.

Но отгадать имена мы не в силах и снова  
мы отдаем ему вздохом легчайшим  
память о прошлых мгновеньях, исполненных зова.

## VII

Вам, о цветы, так сродни вас сорвавшие руки  
(девушек руки, цветущих всегда), —  
часто в саду на столе вы, томясь от разлуки,  
ждете смиренно, когда же вода

выведет наново вас из сухой поволоки  
смерти уже наступающей, — и вот  
подняты вы, и в блаженном живительном токе  
пальцев вам новая радость цветет,

бóльшая, чем вы мечтали, её ожидая,—  
нынче кувшин оживить вас готов,  
и охлаждаетесь вы, из себя истончая

пальцев девичьих тепло, как признание гнетущее

в том, что они вас сорвали, и вновь  
к девушкам это тепло переходит, цветущее.

## VIII

Немногие, вы, детства далекого други  
в стольких забытых садах городских:  
как мы себя узнавали после столь долгой разлуки  
и, точно агнец с картинок живых,

молча о всем говорили. И всё же  
та наша радость была ничьей.  
Вспыхнув на миг, она тотчас же тлела в прохожих,  
в робости дней, в одиночестве долгих ночей.

Что же было тогда в этом мире реальным?  
Тот ли возница с кнутом, что, сшибая нас, грубо бранился,  
лживая прочность домов, наш ли заглотанный плач?

Ничего. Только мячи. Их полет напряженно овальный.  
Даже не дети... И лишь иногда становился,  
ах, преходящий один, под упдающий мяч.

(Памяти Эгона фон Рильке)

## IX

Что же вы, судьи, кичитесь отсутствием пыток,  
тем, что горло гароттой не сжато до выката глаз!  
Сердце ничье не ликует —, где вас неприкрыто  
мягкость кривит, словно некий поволенный спазм.

То, что дано ей в веках, снова дарит обратно  
плаха, как дети игрушку былых именин.  
В чистое, горнее сердце, открытое тысячекратно,  
он низошел бы иначе с вершин,

подлинной мягкости Бог. Державный и скорый,  
распространился бы он, благодатно светя.  
Больше, чем ветер для судна надежного в море.

Не меньше, чем тайна, с которой сдружилось молчанье.  
дабы выигрывать внутренне нас, как дитя,

в бесконечной игре из попарных простых сочетаний.

## X

Всем достижениям машина грозит, этот властный  
раб, возжелавший дерзко в духе себя утвердить.  
Трепет медлительных рук, труд их живой и прекрасный  
гонит она, чтобы быстро камни для стройки дробить.

Всюду мы слышим её, всюду – её притязанья,  
смазанной, ей бы на фабрике только себе и внимать.  
Нет, она влезла нам в жизнь, стала нам преуспеяньем,  
с равным успехом привыкшая строить и уничтожать.

Но зачарована жизнь, глубь, избежавшая тлена.  
Только нетронутым силам явлена эта основа,  
только тому, кто пред ней изумленно стоит на коленях.

Невыразимое всё ещё льется в слова родником...  
И в бесполезном пространстве музыка снова и снова  
из самоцветьев дрожащих строит божественный дом.

## XI

Многие стройные правила смерти родились,  
всепокоритель, с тех пор как тебя на охоту влечет;  
но не капканами, нет, взоры мои опленились,  
только тобою, платок, свешенный в карстовый грот.

Тихо тебя поднесли, словно бы ты предвещал  
мир. Но хитрец вдруг тобою взмахнул вероломно,  
– и, из отверстия, ночь бросила в светлую даль  
бледную горсть голубей... Впрочем, и это законно.

Да не наполнятся взоры жалостью или прискорбьем,  
время и этому есть – пусть же свое он вершит,  
зоркий охотничий глаз.

*Убивать – это образ нашей скитальческой скорби...*  
Дух невозбранным хранит,  
то, что свершается в нас.

## XII

О, возжелай превращения! О, полюби огневое!  
 То, что ты кличешь огнем, есть только блеск перемен;  
 живописующий дух, кто мастерит всё земное,  
 любит в порыве рисунка лишь поворотный момент.

Всё, что застыло на месте, косо уже и беспроко;  
 впрямь ли его защищает серый невзрачный сон?  
 Жди, жесточайшая участь вскоре заменит жестокою.  
 Горе —: отвергнутый молот уже занесен!

Только забивших ключом всюду признает признание;  
 и, поведя их, восторженных, сквозь сотворенное славно,  
 явит в началах концы, а в концах — провозвестье начал.

Каждый счастливый простор — дитя или внук расставанья,  
 животворящего нас. И превращенная Дафна,  
 чувствуя лавром себя, хочет, чтоб ветром ты стал.

## XIII

Будь впереди всех разлук, как если бы были  
 они за тобою, как зимняя эта метель.  
 Ибо средь зим есть такая одна, что, осилив  
 холод её, твое сердце растопит предел.

Будь вечно мертв в Эвридике — и звучным порывом,  
 светлым восторгом взойди в чистоту заразлук.  
 Здесь, средь повиснувших, будь, на грани обрыва,  
 в звонко разбитом стекле, не стекло будь, а звук.

Будь — но и не-бытия познай непреложность,  
 где сокровенно твоя прорастает возможность,  
 прежде чем ты из нее в этот мир изойдешь.

И как к растраченным, так и к смутно таимым  
 суммам природы, запасам неисчислимым,  
 бурно причисли себя и число уничтожь.

## XIV

Взгляни на цветы, сколько верности в этих созданиях, —  
мы же их заставляем судьбу нашу с нами делить.  
Но, может, когда они каются в час увяданья,  
именно нам суждено их раскаяньем быть.

Всё хочет повиснуть. А мы от обиды трепещем  
и наступаем на всё, испытывая свой вес;  
о, что за наставников мстительных терпят в нас вещи,  
если им вечное детство даровано здесь.

Когда бы хоть кто-то с ним слился во сне и сновидел  
вместе с вещами —: о, как бы из той глубины,  
легкий, вернулся он снова в дневную обитель.

Или остался бы там, обратившись, быть может,  
в новую веру цветения и тишины,  
с тихими сестрами луга цветущего схожий.

## XV

О рот источника, чистейший, щедрый, ты,  
неистощимый говорун несчетных дней, —  
перед струящимся всегда лицом воды  
ты — мраморная маска. А за ней,

минуя кладбище, со склонов Апеннин  
тебе твой сказ доносит акведук.  
И с почерневших подбородочных морщин  
твоих, замкнув далеких странствий круг,

сказ этот льется в мраморный сосуд,  
как в ухо спящее, подставленное тут  
землею, чтобы ты в него журчал.

Так внемлет сказу собственных глубин  
земля. Но появись на миг кувшин,  
и ей покажется, что ты её прервал.

## XVI

Всё еще, хоть длится растерзанье,  
брызжет Бог целебным родником.  
Мы как острие, мы жаждем знания,  
он же, светлый, слышится во всем.

Даже посвященный и чистый  
дар он лишь тогда принять готов,  
если добровольный и тернистый  
путь сужден ему всё вновь и вновь.

Лишь умерший пьет из родника,  
если Бог ему кивает молча,  
мы же только плеск воды и слышим.

Только шумом мы живем и дышим.  
И ягненок ждет свой колокольчик  
инстинктивно и наверняка.

## XVII

Где же, в каких вечно блаженных садах, на каких же деревьях ветвистых,  
из каких нежно осыпанных чаш лепестковых и листьев  
зреют диковинные плоды утешения? Эти  
лакомые, из которых ты, может, один лишь найдешь, если ветер

сбросит его на растоптанный луг твоей бедности. Ты же находке удачной  
вдоволь дивишься, словно бы плод тот тебе даровала судьба,  
величине ты дивишься его и целебности, мягкости кожи прозрачной  
и тому, что ни ветреность птиц, ни ревнивость червей не коснулись его до тебя.

Странные эти деревья, где ангелы молча летают  
и где садовники скрытые ветви им так подрезают,  
что они нас несут, не сгибаясь от тяжести. Может, цветут они где-то?

Разве смогли бы когда-нибудь мы, призраки и привиденья,  
нашим безвременно зрелым и всё же увядшим уже поведением  
невозмутимость нарушить спокойного этого лета?

## XVIII

О, танцовщица: ты переход  
 всепреходящего в поступь: ты вся приношение.  
 И вихрь под конец: разве отдавшийся год  
 не повинуется этому древу движенья?

Разве верхушка его, столь недавно еще окруженная  
 роем твоим, не цвела тишиной? И над ней  
 разве не солнцем, разве не летом было тепло излученное,  
 это тепло из сгорающей плоти твоей?

Но и плоды приносило оно, твое древо экстаза.  
 Не они ли здесь замерли: этот кувшин простой,  
 спелый, в полоску, и эта созревшая ваза?

И на картинах: не сохранилось ли что-то,  
 подпись, которую бровь твоя темной чертой  
 быстро вписала в простор своего поворота?

## XIX

Там, в избалованном банке, нежится золото где-то,  
 тысячи тешат его. Но тот оборванец слепой,  
 нищий, он сам для грошовой и меднолобой монеты,  
 как запыленная щель, как шкафа угол пустой.

Деньги вдоль лавок торговых властвуют трезво и мощно  
 и облачаются зримо в шкурки, гвоздику и шелк.  
 Он же, застыв в передышке дышащих денно и ночью  
 денег, с открытой ладонью непоправимо умолк.

О, как бы сомкнулась она, эта открытость, ночью.  
 Утром она повторяет судьбу, и для хлеба насущного  
 снова бросает судьба её, жалкую, брентную, к нам.

Если бы кто-то вконец постиг и прославил воочью  
 это её постоянство. Сказанное лишь для поющего.  
 Слышное только Богам.

## XX

Там, между звездами, как далеко; и всё же насколько  
дальше нам здешний урок.

Этот ребенок, к примеру, вон тот, что бубнит без умолку,  
о как безмерно далек!

Пяди жизни судьба отмеряет без нас, и поныне  
прочно хранит их она;  
сколько же пядей, подумай, от девочки робкой к мужчине,  
если она влюблена.

Всё неохватно —, и круг никому не объять.  
Рыба застыла на блюде, и странно: взгляд человеческий  
скован безмолвьем её.

Рыбы немые... так думали раньше. Как знать?  
Может, когда-нибудь то, что было бы рыбьею речью,  
вымолвим мы без нее?

## XXI

Сердце, воспой же сады, те, недоступные глазу,  
как бы стеклянно повисшие, чисто и недостижимо.  
Воду и розы из Исфгани или Ширази,  
воспой их блаженно, восславь их, ни с чем не сравнимых.

Выкажи, сердце, как ты неразлично срастаешься  
с ними. Как смоквы их сами зреют тобой?  
Как в их цветущих ветвях ты сокровенно общаешься  
с ликами ветра, заблудшего между листвою.

Верь, что решение быть — не для лишений свершилось.  
Шелковой нитью сквозною ты оказалось в ткани,  
где несравненная вышивка ткёт за узором узор.

Сколько картин! И с какой бы внутренне ты ни сплотилось  
(будь это даже момент из жизни страданий),  
чувствуй, что здесь налицо весь восхваленный ковер.

## XXII

О, вопреки судьбе: божественный избыток,  
 пенящийся и в парках, и в садах, —  
 или мужами каменно, открыто  
 повисший у подъездов на домах!

Иль медью колокольного трезвона  
 пустые обличающий дела.  
 Или одна, в Карнаке, та колонна,  
 что вечный храм почти пережила.

Теперь всё это рушится поспешно,  
 и плоский желтый день слепит небрежно  
 прожекторами ночь, и глушит, и гнетет.

Но бред рассеется, и в воздухе незримо  
 извечным замыслом уже неразрушимым  
 восстанет всё. Ничто не пропадет.

## XXIII

Обратись ко мне, подай мне знаки  
 только в неподатливейший час:  
 близкий, как молящий взгляд собаки,  
 но и отведенный всякий раз,

если ты схватить его намерен.  
 Отнятое так навек твое.  
 Мы вольны. Мы зря стучались в двери  
 всюду, где нам чудилось свое.

Ищем робко, путаются тропы,  
 слишком юн для старого наш опыт,  
 слишком стар к небывшему наш иск.

Но и это славим мы сквозь слезы,  
 ибо мы, ах, ветви суть и лозы,  
 ножницы и сладкий спелый риск.

## XXIV

О, эта радость творить из разрыхленной глины!  
 Первенцем быть и глядеть на опасность в упор.  
 Наперекор города воздвигать на трясине,  
 воду и масло в кувшины лить наперекор.

Боги, мы лишь в дерзновенных набросках их множим,  
 уничтожаемых тотчас ворчливой судьбой.  
 Боги, однако, бессмертны. И, значит, мы можем  
 слушать того, кто услышит наш голос сквозной

по истечении сроков. Из тысячелетий  
 движемся мы и несем в себе будущий плод,  
 дабы однажды возмездием стали нам дети.

Мы, в ежечасности риска дразнящие гибель!  
 И только безмолвная смерть, что взаимы нас дает,  
 ведает нас и свою бесконечную прибыль.

## XXV

Чу, вот и слышатся первые грабли;  
 вновь человеческий ритм в тишине  
 почвы ствердевшей; хоть руки озябли,  
 все же земля замирает к весне.

Вкус настоящего, чуть горьковатый,  
 сладок тебе. Всё, что было давно,  
 кажется новым. Его никогда ты  
 не принимал. Тебя брало оно.

Даже дубовые зимние листья  
 к вечеру кажут коричневость мая.  
 Полнится знаками воздух лучистый.

Куст почернел. Но и пашня чернеет  
 кучей навозной, как вакса густая.  
 С каждой минутой земля молодеет.

## XXVI

О, как пронзителен птичий крик...  
 Нам ли постичь его первозданность,  
 если и дети, крича невозбранно  
 в миги игры и крича напрямик,

мимо кричат. И в проемы пространства  
 (крик полонящие птичий, как сны  
 нас полонят), в этот крик первозданства  
 клиньями визг свой вгоняют они.

Горе нам, где мы? Всё еще дикие  
 рыщем на воле, скрывая рычанье  
 краешком рваного смеха вмиг.

Бог песнословящий! выстрой же крики,  
 дабы они, пробудившись в журчанье,  
 вынесли с легкостью лиру и лик.

## XXVII

Время, но где же оно, разрушительно-властное?  
 Когда, на какой неподвижной горе им считается бург?  
 Это сердце, Богам бесконечно причастное,  
 когда сокрушает его демиург?

Неужели же мы так ужасно и хрупки и ломки,  
 как пытается нас показать судьба?  
 Детство, кладезь надежд, не хранят ли наши обломки  
 в корнях молчащих – позже – тебя?

Ах, этот призрак всего, что преходит,  
 раной сквозной через сердце проходит  
 и уползает, дымящийся, вновь.

Мы, проносящиеся быстротечно,  
 всё же и в этом потоке извечно  
 мы остаемся нуждою Богов.

## XXVIII

И здесь, и там. Почти дитя. Исполни  
 фигуру танца. Видишь, как она  
 созвездье чистое тех танцев полнит,  
 где нами, бренными, превзойдена

природа. Ведь её привел в движенье  
 Орфея голос. И в тебе цвело  
 пронзительное это напряжение,  
 и ты слегка дивилась, если шло

очнувшееся дерево с тобою  
 на зов. Ты всё еще держала нить  
 к неслыханному центру, где разлука

сгибалась в лиру. Поступью сплошную  
 ты шла туда, надеясь обратить  
 к святому празднеству лицо и поступь друга.

## XXIX

Тихий друг пространств, взгляни, как полнит  
 даль сквозную каждый выдох твой.  
 На стропилах темной колокольни  
 изойди в звучанье. Этот бой

боль твою ствердевшую растопит  
 в преосуществлении сплошном.  
 В чем, скажи, страдальческий твой опыт?  
 Если горько пить, стань сам вином.

Будь на перекрестке в эту ночь  
 чувств своих, и в миг их странной встречи  
 чувством новым вспыхнет эта смесь.

И, горя земное превозмочь,  
 ты шепни земле: Я быстротечен.  
 И теченью вымолви: Я есмь.

## Примечания Рильке к Сонетам к Орфею

### Первая часть

Х сонет: Во второй строфе помянуты могилы прославленного старого кладбища в Аллискане возле Арля, о котором говорится и в “Мальте Лауридсе Бригге”.

XVI сонет: Этот сонет обращен к собаке. Слова “перст Божества моего” относятся к Орфею, выступающему здесь как “Бог” поэта. Поэт хочет направить этот перст, дабы он из своего бесконечного участия и самопожертвования благословил и собаку, которая, почти как Исав (читай: Иаков. I. Быт. 27), обложила себя шерстью, желая приобщиться в сердце своем к непричитающемуся ей наследству: к человеческому во всей его нужде и во всем его счастье.

XXI сонет: Эта весенняя песенка представляется мне как бы “толкованием” одной необычайно танцевальной музыки, которую мне однажды привелось услышать от монастырских детей в маленьком женском монастыре неподалеку от Ронды (в южной Испании) во время утренней мессы. Дети, не нарушая танцевального такта, пели неизвестный мне текст в сопровождении треугольника и тамбурина.

XXV сонет: К Вере.

## Вторая часть

IV сонет: Единорог является старым, в средние века непрестанно чествуемым символом девственности: поэтому утверждается, что он, несуществующий для профана, есть, стоит лишь ему появиться в “серебряном зеркале”, подставленном ему девой (см. гобелены XV века), и “в ней”, как во втором, столь же чистом и столь же таинственном зеркале.

VI сонет: Античная роза была простым “цветком шиповника”, красным и желтым, — цвета, встречающиеся в пламени. Она цветет здесь, в Валлисе, в отдельных садах.

VIII сонет: Четвертая строка: ягненок (на картинках), говорящий с помощью транспаранта.

XI сонет: По старому охотничьему обычаю, в некоторых карстовых местностях бледных гротовых голубей спугивали из их подземных жилищ, свешивая осторожно в грот прозрачные платки и затем особым образом махая ими; испуганные голуби вылетали из отверстий, и тогда их убивали.

XXIII сонет: К читателю.

XXV сонет: Контрапункт к детской весенней песенке из первой части Сонетов (XXI).

XXVIII сонет: К Вере.

XXIX сонет: К другу Веры.

*Карен Свасьян. От переводчика*

Хотя со времени перевода «Сонетов к Орфею» прошло тридцать с лишним лет, я до сих пор не могу понять, как я вообще решился на него. Всё выглядело чистейшей авантюрой или, если угодно, было ею. Я никогда ничего не переводил до этого, а по-немецки хоть и мог уже читать, но так, что полагаться приходилось больше на сообразительность, чем на знания. Странно сказать, но перевод «Сонетов» совпал по времени с изучением немецкого, то есть, я учил язык, параллельно переводя их, или даже наоборот: я переводил их, параллельно – по ним, на них, ими – уча немецкий. Некоторое (вполне психотропное) облегчение давала догадка, что дело не в языке, и что, знай я даже его в совершенстве, это ничего не изменило бы по существу. Догадка находила подтверждение, когда, теряясь в черных дырах Rilkedeutsch, я мучил знакомых германистов вопросами, а они меня ответами: я их, потому что на мои вопросы у них не было ответов, они меня, потому что и у меня не было вопросов на их ответы. Не лучше обстояло и с заезжими немцами, к которым я обращался за помощью; они были скромнее германистов, но не вездее, и, словно сговорившись, повторяли: «Так не говорят по-немецки» (некоторые добавляли при этом с понимающей улыбкой: «Aber na ja – das ist halt Rilke!») Легче от этого не становилось, зато становилось головокружительнее; ну, конечно же, так не говорят, ни по-немецки, ни по какому; язык Рильке подчинен не статистике читательских групп, а стохастике случая и милости; он говорит так, потому что говорит не к нам, еще живущим (и, значит, умственно ущербным), а к нам, уже умершим, и понять его в оптике жизни не менее опрометчиво, чтобы не сказать: нелепо (нелепость списывается на счет «поэзии»), чем пересказывать какой-то необыкновенно значительный сон за чашкой кофе... Я думаю, у меня не было, да и не могло быть никакого желания переводить «Сонеты», хотя бы потому, что переводить пришлось бы собственную немоту: с молчания по-немецки на молчание по-русски; о переводе я не думал, наверное, еще и потому, что боялся не устоять перед соблазном желания.

Желание пришло позже, когда я уже влип, когда во мне уже заголосила немота и ничто не могло её остановить; тогда-то и стало ясно: я решился на безумие не потому, что хотел его, а: я хотел его потому, что решился на него. Всё длилось не дольше месяца, хотя сам месяц длился намного дольше: месяц одержимости, которую приходилось не только жить, но и тщательно скрывать от друзей, знакомцев, соседей, сослуживцев, кого попало, чтобы не запятнать свою репутацию «нормального»; я и сейчас горжусь почти «шпионской» мимикрией, позволяющей мне жить в повседневности так, чтобы никто не догадывался о моей повсеночности; слова, строки, обрывки строк, ритмы и рифмы, просто бормотания шли иногда горлом в самой неподходящей ситуации, скажем, на каком-нибудь очередном собрании или обсуждении (я работал в Институте философии), так что приходилось, украдкой записывая их, раздаривать скучные улыбки секретаршам, вроде бы учуявшим что-то, и ждать, когда наконец уйдет враждебный день, а с ним и всё дневное, и случится вожаделенное пробуждение в ночь, в рилькевское «Ich glaube an Nächste»; уже потом, когда всё было позади, я понял вдруг, что переводились «Сонеты» в атмосфере, до неприличия похожей на ту, в которой они писались; конечно, это было смешно, но и – несмешно: смешно по понятным причинам, несмешно, потому что как же еще и было воссоздавать «Сонеты» на чужом наречии, если не в подобающей им

атмосфере просветленной одержимости! (Оговорюсь, это условие касалось именно меня, непрофессионального – вообще никакого – переводчика; профессионал, а тем более теснимый договорными сроками, не стал бы дожидаться вдохновений, а обошелся бы без них или сам вызвал бы их по необходимости.)

«Сонеты к Орфею» очень неожиданная книга. Неожиданная для автора, который десять лет ждал другого, а получил (вместе с другим) и это, но и для читателя, даже не подозревающего, где он очутился, и думающего, что он всё еще читает стихи. Можно до бесконечности комментировать эти причудливые сгустки невыразимого – по модели дублинского Bloomsday, прокормившего уже не одно поколение литературоведов (мне памятна книга, состоящая из 55 глав, по главе на сонет), но что всё это значит, если не знать главного, того именно, что это не стихи, а панихида (Totenamt), причем такая, где смерть не оплакивается извне из намертво вцепившейся в себя жизни, а празднуется изнутри, как пробуждение в проспанный прижизненно мир вещей. Главное «Сонетов» – приписка к их заглавию: написаны как надгробие Вере Оукама-Кнооп. Рильке, знавший её родителей, видел её несколько раз (она умерла, не дожив до девятнадцати лет, от белокровия, того самого, от которого через пять лет умер он сам). Эта смерть и стала возможностью (dynamis) «Сонетов», или, динамичнее, переводом их из великого бессловного молчания в молчание раззвучивающих их слов; можно знать, что автор «Сонетов к Орфею» (душа, в которую они вошли как в собственное тело), до того как он умер своей смертью ранним утром 29 декабря 1926 года в санатории Вальмон у Женевского озера, умер этой не своей: в нелюдимом и внешне поразительно похожем на него замке Мюзот (в швейцарской Сьерра) в феврале 1922 года. Эта не своя смерть зрела и выросла в нем давно, с «Часослова»; позже её заслонили «Элегии», за ангелической анонимностью которых оставался незамеченным их личный, близкий, интимный смысл. Смерть, чьими гулками шагами, как невыплаканностью, наполнено гьератическое пространство «Элегий» (особенно последней, десятой), легко и радостно станцована в эвритмеуме «Сонетов»; удивительно слушать и видеть это: смерть с чистым умытым светом лицом, танцующую под детское пение и хлопанье в ладошки в сопровождении треугольника и тамбурина. Наверное, об этом в самом деле можно было бы написать тома, но написанное было бы не больше, чем гомеопатическим разведением увиденного: он ждал, вернее, не он, а некий демон открытой жизни (очевидно, вселившийся в него со времен слышанных им в Мюнхене лекций Альфреда Шулера) ждал в нем смерти Эвридики, как родовых схваток «Сонетов». Он и умер сам в смерть Веры, чтобы привести её, «ту так любимую», белую, неприкосновенную, обратно в жизнь: в новую нетленную плоть, на которую мы, ничего не подозревающие простофили и интеллектуалы, постоянно оборачиваемся, чтобы, потеряв её, увидеть в ней одну из вершин поэзии XX века.

*Базель, 19 апреля 2009*

Источник: <http://www.stosvet.net/11/svasyan/>